

Соб. кинорежиссура. — 1991. — 10 кв. (№ 32). — С. 6.

ДАВНИМ зимним вечером в Малеевке он подарил мне свою новую книгу «Перед снегом». А до войны у него было стихотворение «Перед листопадом». Вот это перед, — доверчивое ожидание чего-то, характерно для Тарковского. Толя Аграновский пел в тот вечер под гитару положенные им на музыку стихи:

Вечерний, сизокрылый,
Благословенный свет!
Я словно из могилы
Смотрю тебе во след.
Их совместный романс.

Тарковские занимали гостиную, большую комнату-фонарь в конце коридора с видом на три стороны, а за окнами вдали, меж стволов, все еще долетал на снегу закят.

Тарковский в пижаме и на протезе. Он гораздо реже пользовался костылями, разве уж слишком донимала боль. Я много лет спустя написал стихи об инвалиде, совершенно не о нем, но впечатление, наблюдение с той поры: «сутулят костыли, стройнит ножной протез».

В нем чувствовалась порода, утонченность, он был бледен и красив какой-то сословной дворянской красотой. Он был словно из начала прошлого века, из войны двенадцатого года. Знаете у Цветаевой: «О, молодые генералы!».

Он был прекрасно воспитан, его отличал естественный интерес к собеседнику. Любому. (Недавно прочел о нем в справочнике: «образование среднее». Смешно! Кто-то может

переводы оборачивались многократно. Но многое ли осталось? Увы!.. В ту пору переводили почти все, однако большей частью эпизодически. И я тоже. А иных, кто всерьез втянулся в эту сферу, переводы попросту сломали.

Тарковский убивается в пронзительном стихотворении «Переводчик»:

Для чего я лучшие годы
Продал за чужие слова!
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова.

Третья и четвертая строчки болезненным рефреном проходят через все стихотворение. Никто об этом не написал. Он один признался.

И еще у него есть — о том же:

К чужим пристрастился
тыюкам,
Копейки под старость
не нажил.
[«Верблюды»].

Из тех, кто гигантски много переводил в наше время, удивлялись и как собственно поэты, единицы: Пастернак, Заболоцкий, Межиров, Липкин... Ничто не проходит даром.

Ну и главная боль Тарковского. Об этом позже...

ПОСЛЕ ЕГО СМЕРТИ я прочел статью о нем. Там говорилось (да об этом и раньше в критике промелькивало), что он младший представитель серебряного века нашей поэзии. Но ведь дело даже не в том, что он значительно моложе, другое поколение, а в самом поэтическом принципе, что ли.

У всех тех, перед кем он преклонялся (Ахматова, Цветаева, Мандельштам, не говоря уж о

Людей и птиц, я пел
со всеми вместе
И не покину пиршества
живых —

Прямой гербовник
их семейной чести,
Прямой словарь их связей
корневых.

О чем эти стихи? О связи времен и всего живого. Это — как теперь говорят — прорыв. Автор хочет объяснить, но сперва объяснить свою собственную жизнь — прежде всего себе самому. Он хотел бы начать сначала. Не случайно в конце пути его так привлекает детство, где без подробностей не обойдешься. «Земле — земное» — так, может быть, неожиданно для него называется одна из его книг. Он всю жизнь хочет развить этот тезис.

У нас была с ним игра: изменение в строке или фразе одной или двух-трех букв, меняющих и смысл.

Мы соревновались беспрепятственно.

Он придумал: «Кafka Корчагин».

Я: «Угодили комсомольцы на гражданскую войну».

Он: «Мы рождены, чтоб Kafka сделать былью».

Я: «Эта штука посильнее, чем «Фауст» Гете» (из рассказов Рыболовов).

Много еще было — жаль не записывал.

Он прекрасно рассказывал — в своей кокетливо-наивной манере. Удивительный его рассказ, подтвержденный другим участником — Антокольским.

В самом конце сороковых была запланирована в Москве

А так он был резкий, вспыльчивый, желчный. Даже злой. Катал желваки под кожей.

Я вот сейчас подумал, что, пожалуй, никогда не видел их вместе: отца и сына. Как они разговаривали? О чем — понятно, вернее, известно от старшего Тарковского. А вот — как?

Помню, были мы на свадьбе. Гарагуля женил старшего сына Бориса. Гуляли в доме невесты. В громадной комнате поместилось человек пятьдесят. Гости со стороны жениха были все друзьями Толи и жены его Валерии: Толеняна, первый замминистра Константин Васильевич Трофимов, Артур Макаров, Андрей и мы с Инной. Были еще, по-моему, Булат и Оля... Остальные — от другой стороны. Как обычно, говорили прочувствованные речи, сыпали пожеланиями.

И вот поднялся Андрей. Он сказал молодым, что они не должны обращать внимания на услышанные тосты, что все это ханжество и вранье, что старших нельзя уважать, а жить следует по-другому, по правде, иначе их союз изначально терять всякий смысл. И ведь как в воду смотрел.

Он говорил резко, откровенно неприязненно к большинству, катая желваки под кожей. Толя всем своим видом его одобрял.

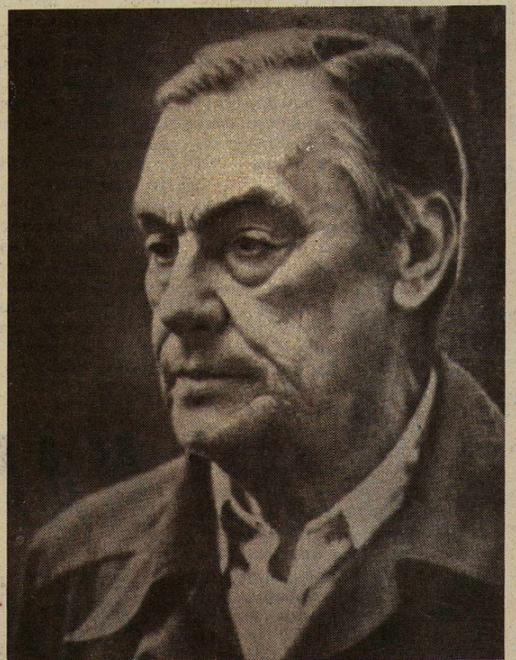
Речь попытались замять, вроде бы не слышали, однако на свадьбе оказался генерал. Не свадебный — это был дедушка невесты.

Он весь кипел, возмущенный

Константин Ваншенкин

Перед чем-то новым

Об Арсении Тарковском



представить совсем другого человека). Однако он знал себе цену — и отсюда его несколько кокетливый порою тон.

У него есть замечательные стихи о Мандельштаме, и там сказано:

В диком приступе
жеманства
Принимал свой гонорар.

Разумеется, у Тарковского не могло быть подобных приступов, но жеманство в легкой, вполне простительной форме присутствовало. Не потому ли он и отметил эту сторону характера у Мандельштама?

Я никогда не называл его Арсением или Арсюшей, тем более на ты, как иные мои сверстники. Меня такое коробило. А он от них терпел, ничего.

Впрочем, жену его, милую Татьяну Алексеевну Озерскую, переводчицу английской классики, я звал с самого начала знакомства Танечкой, так сложилось.

У них была «Волга», Таня ее водила. Была своя дача, просторная квартира в Москве. Но они часто и подолгу обитали в подмосковных писательских домах. Предпочитали такой образ жизни.

Известно, что Набоков с женой в последний швейцарский период постоянно жили в гостинице. Но одно дело их комфортабельно-фешенебельный отель под «пятью звездочками» и другое — Малеевка или Переделкино.

Тарковский с постели в пижаме, хромая, пробирался по коридору в душ или туалет, а навстречу кто-то в заснеженной шубе или в лыжном костюме — с прогулки. И все это как-то слишком на виду.

И вместе с тем они были, что называется, светскими людьми. Таня подгоняла «Волгу», он садился впереди, рядом с ней, и ехали — на премьеру, на выставку, просто в ресторан.

С годами вокруг него, особенно в Переделкине, все заметнее клубилась молодежь. Наверное, это было ему необходимо. Приезжали из Москвы, просто так, поторчат и уедут.

«Волги» уже не было. Когда нужно было по делам в город, возил его чаще всего молодой поэт Саша Лаврин на своем «Запорожце» с ручным управлением. Тарковский, так же не торопясь, с достоинством, устранился впереди, примачивал палку.

Сегодня, когда оглядываешься на Арсения Александровича, отчетливо понимаешь, что он прожил трагическую жизнь. Только подумайте, этот томный красавец смолоду десятилетиями жил тяжелым инвалидом, без ноги. Мы давно привыкли, но не он — и по утрам он часто выглядел особенно незащищенным от своей постоянной беды.

И второе — переводы. Печать свое было очень трудно, а переводить — скажем честно — очень выгодно. Тогда пе-

Пастернаке), стихи густо замешены на жизненных подробностях, конкретности, бесстрашной наблюдательности. У него этого почти нет.

В той же статье говорилось, что поскольку он воевал, то его можно отнести к фронтовому поколению поэтов. Опять неточно. Не относят же к этому поколению Твардовского или Симонова. Этими словами определяют художников, «рожденных» войной, то есть тех кто только-только начинал перед войной или и не помышлял об этом. И опять же — у него, добровольцем пошедшего на фронт, человека такой военной судьбы, таких страданий, по сути почти нет фронтовой лирики. Нет подробностей, о чем я уже говорил. Как будто ему все время что-то мешало.

Вот стихи о том, что кричит и кровотоцит — «Полевой госпиталь»:

Стол повернули к свету.
Я лежал
Вниз головой, как мясо
на весах,

Душа моя на нитке
колотилась,
И видел я себя со стороны:
Я без довесков был
уравновешен
Базарной жирной гирей.

Похоже на перевод, на что-то западное.

Как всегда бывает в искусстве, мы хотим увидеть мир глазами свидетеля, участника, в данном случае — страдальца. Здесь он сравнивает себя с куском мяса на базарных весах. И это после того, что мы о нем знаем! Ужасно, но это написано словно без собственного опыта. То есть, чтобы написать это, не обязательно было пережить все то, что довелось ему.

Думаю, критика изображала его не тем, кем он был в самом деле. Он всю жизнь пытался вырваться к себе, проявиться резко и подробно. Отсюда у него стихи, похожие манерой и интонацией на Блока, Мандельштама, Гумилева, Заболоцкого. Даже Слуцкого. Не потому, что он не мог преодолеть их влияния, а потому, что он мучительно искал свое.

У него есть замечательное стихотворение, посвященное Ахматовой, — «Рукопись». Ахматова ценила и одобряла его, Цветаева им восхищалась. И так стихи:

Я кончил книгу и поставил
точку

И рукопись перечитать
не мог.

Судьба моя сгорела между
строк.

Пока душа меняла оболочку.
Так блудный сын срывает
с плеч сорочку,

Так соль морей и пыль
земных дорог
Благославляет и клянет
пророк,

На ангелов ходивший
в одиночку.

Я тот, кто жил во времена
мои,

Но не был мной. Я младший
из семьи

декада литературы и искусств Азербайджана (и состоялась, разумеется). Такие союзные декады проводились регулярно.

Подготовка велась солидная. Лучшие переводчики, связанные с республикой, отправились заранее в Баку, жили на всем готовом с женами на правительственных и партийных дачах и переводили, переводили. Были там, помнится, Смеляков, Шубин, кажется, Луговской, Тарковский и Антокольский.

И вот — день рождения одного из ведущих азербайджанских поэтов: то ли Мамеда Рагима, то ли Расула Рза, то ли Сулеймана Рустама. Все они там присутствовали, но не помню, кто был хозяином.

Переводчики, разумеется, были приглашены. Заехали и за Тарковским. Однако поблизости от нужного дома дорога оказалась перекрытой — полерек узкой улицы стояли две машины. Какие-то люди разрешили им пройти.

Гости уже собрались, но в доме висело напряжение, говорили почти шепотом. И вдруг возникло движение, и появился Багиров.

Он прошел к столу, сел, жестом предложил следовать его примеру. Он был руководителем Азербайджана, но о том, что он представлял собой, приезжие во всяком случае не подозревали. Он посмотрел сквозь свое знаменитое пенсне на хозяина и поинтересовался, почему тот не позвал его на праздник.

Разговор происходил на русском — чтобы было всем понятно.

Хозяин начал лепетать, что не мог ожидать такой чести, не смел и думать... Через каждые несколько слов он кланялся и называл Багирова по имени-отчеству: Джафар Аббасович. Тот небрежно, но весьма благосклонно отозвался о стихах хозяина. Потом с таким же разбором перешел к другим. Обращение он начинал словами: — А ты, Рагим... — А ты, Расул... — А ты, Сулейман... Они поочередно вставали и почтительно его выслушивали...

И ГЛАВНАЯ постоянная боль. У него и у Тани было по сыну — от прежних браков. Они пережили своих сыновей. Я знал обоих. И вот — Андрей.

Встретаться и общаться доводилось не раз, и особенно, когда приезжал в Москву, в отпуск или по делам, наш общий друг, капитан теплохода «Грузия» Анатолий Гарагуля, обладающий редким талантом объединять людей. Тогда виделся почти непрерывно.

Андрей, конечно, был похож на отца и порою заметен. Но мягкость, томность отсутствовали начисто. Может быть, он подавлял это в себе — жизнь заставляла. Правда, среди своих он часто, сам того не замечая, оттаивал, влюбленно, как мальчишка, смотрел на капитана.

кошунственными словами. Он протестовал, он не мог примириться.

Они еще долго, перебивая друг друга, выкрикивали через столы свои аргументы. Каждый бурлил собственной убежденностью и правотой.

Андрей не мог остановиться. Это было скопившееся, спрессованное его раздражение.

Разумеется, в такой роли даже нельзя было представить себе Арсения Александровича. Он притерпелся к обидам, чувство задетости было спрятано глубоко, может быть, и от самого себя.

Его не выбирали на писательские съезды или в состав правления. Вроде бы, кому это нужно. Ан нет. Помню, как-то на общем московском собрании или пленуме его назвали в президиум. Он отнесся к этому очень серьезно, просидел на сцене весь день.

У него была безукоризненная репутация человека высочайшей порядочности. Понятно, он никогда не писал и не выступал против кого бы то ни было. И здесь я хочу сказать об этой проблеме безотносительно к нему.

Среди тех, кто подписывал что-то по поводу, скажем, Солженицына или Сахарова, есть замечательные писатели и люди, которых я, несмотря на это, не только люблю, но, не побоюсь сказать, и уважаю.

Сейчас любой им это вспоминает: мол, как это они, ведь уже не сажали! Да, не выдержали, не устояли перед мощным нажимом из высоких сфер, — и вот тавро на всю жизнь. Мне самому удалось избежать этого только чудом, у них не получилось. Слава тем, кто протестовал, выступал, выходил из союза. Но вы-то чего радуетесь и клеймите? Ведь вам и еще многим не предлагали. А предложите бы, да еще строго, — неизвестно, как бы вы реагировали. Вы же были тогда другими.

Ведь если бы раньше сказать: Слуцкий выступит против Пастернака, ни один бы человек не поверил.

А он выступил. А Шкловский и Сельвинский из Ялты прислали тогда же гневно клеймящую телеграмму, пожелали отметить. К ним-то уже вообще никто не обращался.

Очень многих в такой роли нельзя себе представить, но их на эту прочность и не испытывали. Они, к счастью для себя, оказались за чертой официально привлекаемого круга.

А как поэту Арсению Тарковскому не следует подыскивать место: серебряный век или фронтовое поколение. Он стоит особняком. Как художник он объективно оказался на позиции, игнорирующей личный опыт. Он как бы считал, что использовать его — это слишком просто. Он был ограничен в своем состоянии, но это постоянно мучило его.

И он всю жизнь продолжал находиться перед чем-то иным, новым...